

Осип Эмильевич Мандельштам

Путешествие в Армению

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Осип Эмильевич Мандельштам

Путешествие в Армению / Осип Эмильевич Мандельштам – М.: Книга по Требованию, 2011. – 40 с.

ISBN 978-5-458-03681-8

Осип Мандельштам (1891–1938) — одна из ключевых фигур русской культуры XX века, ее совершенно особый и самобытный поэтический голос. «В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост», — так определял Мандельштам особенность своей прозы с ее афористичной, лаконичной, плотной языковой тканью.

ISBN 978-5-458-03681-8

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Мандельштам Осип
Путешествие в Армению

СЕВАН

На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших вшивых отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонт монастырских общежитий.

Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотоле спокойную известковую воду сначала дурашливую зыбь, потом птичье кипение и, наконец, буйную ладожскую дурь.

Тогда нельзя было отказать себе в удовольствии отмерять триста шагов по узкой тропинке пляжа насупротив мрачного Гюнейского берега.

Здесь Гокча образует пролив раз в пять шире Невы. Великолепный пресный ветер со свистом врывается в легкие. Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гутенберговскую Библию под тяжко насупленным небом.

Не менее семидесяти процентов населения острова составляли дети. Они, как зверьки, лазили по гробницам монахов, то бомбардировали мирную корягу, приняв ее студеными судороги на дне за корчи морского змея, то приносили из влажных трущоб буржуазных жаб и ужей с ювелирными женскими головками, то гоняли взад и вперед обезумевшего барана, который никак не мог понять, кому мешает его бедное тело, и тряс нагулянным на привольи курдюком.

Рослые степные травы на подветренном горбу Севанского острова были так сильны, сочны и самоуверенны, что их хотелось расчесать железным гребнем.

Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями — остатками богомольных пикников окрестного люда.

Кроме того, он буквально вымощен огненно-рыжими плитами безымянных могил — торчащими, расшатанными и крошащимися.

В самом начале моего пребывания пришло известие, что каменщики на длинной и узкой косе Самакаперта, роя яму под фундамент

для маяка, наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в Эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа.

Рано утром я был разбужен стрекотанием мотора. Звук топтался на месте. Двое механиков разогревали крошечное сердце припадочного двигателя, поливая его мазутом. Но, едва налаживаясь, скороговорка — что-то вроде «не пито — не едено, не пито — не едено» — угасала и таяла в воде.

Профессор Хачатурьян, с лицом, обтянутым орлиной кожей, под которой все мускулы и связки выступали, перенумерованные и с латинскими названиями, — уже прохаживался по пристани в длинном черном сюртуке османского покроя. Не только археолог, но и педагог по призванию, большую часть своей деятельности он провел директором средней школы — армянской гимназии в Карсе. Приглашенный на кафедру в советскую Эривань, он перенес сюда и свою преданность индоевропейской теории, и глухую вражду к яфетическим выдумкам Марра, а также поразительное незнание русского языка и России, где никогда не бывал.

Разговорившись кой-как по-немецки, мы сели в баркас с товарищем Кариньяном — бывшим председателем армянского ЦИКа.

Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на бездействие, курение папирос и столь невеселую трату времени, как чтение напостовской литературы, с видимым трудом отвыкал от своих официальных обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на его румяных щеках.

Мотор бормотал «не пито — не едено», словно рапортуя т. Кариньяну, островок быстро отбежал назад, выпрямив свою медвежью спину с осьмигранниками монастырей. Баркас провожала мошкара, и мы плыли в ней, как в кисее, по утреннему кисельному озеру.

В яме нами были действительно обнаружены и глиняные черепки, и человеческие кости, но, кроме того, был найден черенок ножа с клеймом старинной русской фабрики N.N.

Впрочем, я с уважением завернул в свой носовой платок пористую известковую корочку от чьей-то черепной коробки.

Жизнь на всяком острове, — будь то Мальта, Святая Елена или Мадера, — протекает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее друг к другу, чем на большой земле, с ее широкопальными дорогами и отрицательной свободой.

Ушная раковина истончается и получает новый завиток.

На Севане подобралась, на мое счастье, целая галерея умных и породистых стариков — почтенный краевед Иван Яковлевич Сагателян, уже упомянутый археолог Хачатурьян, наконец, жизнерадостный химик Гамбаров. Я предпочитал их спокойное общество и густые кофейные речи плоским разговорам молодежи, которые, как всюду в мире, вращались вокруг экзаменов и физкультуры.

Химик Гамбаров говорит по-армянски с московским акцентом. Он весело и охотно обрусел. У него молодое сердце и сухое поджарое тело. Физически это приятнейший человек и прекрасный товарищ в играх.

Был он помазан каким-то военным елеем, словно только что вернулся из полковой церкви, что, впрочем, ничего не доказывает и бывает иной раз с превосходными советскими людьми.

С женщинами — он рыцарственный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании — враг колкостей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик из франкской земли.

Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбацкой сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью.

Что сказать о севанском климате?

— Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Стеклопалочка дачного градусника бережно передавалась из рук в руки.

Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских матерей. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои узкие язычки, высовывая их на секунду ломтиками медвежьего мяса...

Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно переставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.

Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки.

Однажды, соревнуясь с комсомольцем Х., Гамбаров затеял обогнуть вплавь всю тушу Севанского острова. Шестидесятилетнее сердце не выдержало, и, сам обессиленный, Х. вынужден был покинуть товарища, вернулся к старту и полуживой выбросился на галку. Свидетелями несчастья были вулканические стены остров-

ного кремля, исключавшие всякую мысль о причале...

То-то поднялась тревога. Шлюпки на Севане не оказалось, хотя ордер на нее был уже выписан.

Люди заматались по острову, гордые сознанием непоправимого несчастья. Непрочитанная газета загремела жестью в руках. Остров затошнило, как беременную женщину.

У нас не было ни телефона, ни голубиной почты для сообщения с берегом. Баркас отошел в Еленовку часа два назад, и — как ни напрягай ухо — не слышно было даже стрекотания на воде.

Когда экспедиция во главе с товарищем Кариньяном, имея с собой одеяло, бутылку коньяку и все прочее, привезла оконченного, но улыбающегося Гамбарова, подобранного на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплескания, какие мне приходилось слышать в жизни: человека приветствовали за то, что он еще не труп.

На рыбной пристани Норадуза, куда нас возили на экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорового пения, меня поразил струг совершенно готовой барки, вздернутой в сыром виде на дыбу верфи. Размером он был с доброго троянского коня, а свежими музыкальными пропорциями напоминал коробку бандуры.

Кругом курчавились стружки. Землю разьедала соль, а чешуйки рыбы подмигивали пластиночками кварца.

В кооперативной столовой, такой же бревенчатой и — минхерцпетровской, как и все в Норадузе, кормили вповалку густыми артельными щами из баранины.

Рабочие заметили, что у нас нет с собой вина, и, как подобает настоящим хозяевам, наполнили наши стаканы.

Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы недостойны говорить, а должны лишь чураться в нашей немощи -

вода по-армянски — джур,
деревня — гьох.

Никогда не забуду Арнольди.

Он припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его походке.

Ученое начальство острова проживало на шоссе в молоканской Еленовке, где в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды великаньих форелей.

Уж эти гости!

Их приносила на Севан быстрая, как телеграмма, американская

яхта, ланцетом взрезавшая воду, — и Арнольди вступал на берег — грозой от науки, Тамерланом добродушия.

У меня создалось впечатление, что на Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтобы с ним покумекать, он и высаживался на остров.

Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь. Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Звартнодза в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?

Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел.

АШОТ ОВАНЕСЬЯН

Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть дальше промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.

Воздух на набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.

Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с ключими шрифтами существовала также, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания.

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ.

Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер.

Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи...

Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые, с выхвалю, пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово — это работа. Голова товарища Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмурица его очей стоила улыбки.

Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов...

Голова по-армянски: глух', с коротким придыханием после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новел-

ла? Пожалуйста.

Видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожеления, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота.

Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...

МОСКВА

Незадолго перед тем, роясь под лестницей грязно-розового особняка на Якиманке, я разыскал оборванную книжку Синьяка в защиту импрессионизма. Автор изъяснял «закон оптической смеси», прославлял работу мазками и внушал важность употребления одних чистых красок спектра.

Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. То и дело обращался к его «Путешествию в Марокко», словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря, к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...

Мне показалось, будто я сменил копытообразную и пропыленную городскую обувь на легкие мусульманские чупки.

За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь.

К тому же легкость вторглась в мою жизнь, как всегда сухую и беспорядочную и представляющуюся мне щекочущим ожиданием какой-то беспронгрышной лотереи, где я могу вынуть все, что угодно: кусок земляничного мыла, сидение в архиве в палатах первопечатника или вожденное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры — молодой белокурый юристконсульт — врвался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновые пальто и ночью улетал на «юнгерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

Должно быть, величайшая дерзость — беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам.